Лада Одинцова

Патриарх русско-советской Поэзии

Николай Николаевич

УШАКОВ

[мемуарно-литературоведческий этюд]

2008 год, Москва

Патриарх русско-советской Поэзии
Николай Николаевич
УШАКОВ
[мемуарно-литературоведческий этюд]

Однажды русско-советский поэт Николай Николаевич Ушаков ошастливил меня показом редкого фотоснимка, сделанного в Москве в начале 60-х годов: Ушаков стоит вместе с первым в мире летчиком-космонавтом Гагариным. Какие две редкостные личности из племени Великороссов, выражаясь юридическим языком царско-режимного времени: Ушаков и Гагарин – высоконравственный поэт мыслительного склада и разведчик космоса – первый в мире астронавт с его ослепительной детской улыбкой! Философ-диссидент Александр Зиновьев напомнил русским о том, что в Славянской Руси существовало 3 коренных народа: Белорусы, Малороссы и Великороссы – наиболее многочисленные. А русскими в царско-режимное время назывались все остальные народы, входящие в Российскую Империю, по причине юридического подданства: русского, российского. Поскольку диссидент Зиновьев был изгнан из СССР за критику советского строя (в конце 70-х годов XX столетия), то входивший в силу Идеолог московской поэтической школы литературовед Вадим Кожин никак не мог без помощи изгнанника вспомнить наше национальное определение времен царской Империи, а потому напрасно мучился из-за обтекаемости и туманности определения «русский». Кожин сокрушенно писал о том, что, якобы, у самого многочисленного, титульного народа России отсутствует точное национальное определение, дескать, русский – и все тут. Это оказалось заблуждением уважаемого литературоведа, которого в литературных кругах было принято считать философом. К сожалению, подобных грубых ошибок у Кожина в избытке. Мое несогласие с Идеологом Кожинным и с его тысячной армией литературных

последователей – Кожиновцев базировалось на моей приверженности к Ушаковской Школе.

Как-то раз советский писатель Дмитрий Жуков обмолвился о Русском Ордене, созданном в 60-х годах XX столетия в стенах центрального дома литераторов в Москве. Иначе Русский Орден назывался Русским Клубом и заседал, как правило, в ресторане ЦДЛ, но не только здесь. Входили в Русский Орден немногие допущенные: Идеологический Пастырь советской литературы Вадим Кожинов, также помощник Суслова и Генсека Брежнева – Александр Байгушев (позднее написавший книгу об этом секретном объединении коммуно-русофилов), поэт Сорокин, провозглашавший социализм земным раем, и другие. Злопыхатели из числа писателей-интернационалистов, замечавшие в ЦДЛ необычные ресторанные собрания, дали завсегдашьям неточное название «Секты Кожиновцев», поскольку располагали об этой литературной группировке слишком поверхностными наблюдениями. Спустя десятилетие после распада СССР Вадим Кожинов наконец-то обнародовал идеологемы Русского Ордена в книге «Победы и беды России» [2000-й год, М., Алгоритм]. В ней Вадим Валерианович писал в заключение: «В наше время эксперты твердят, что Россия никак не является нормальным государством. Но даже согласившись с таким приговором, недопустимо забывать, что за последние 2 столетия именно Россия сокрушила 2 мощнейших военных машины, претендовавших на мировое господство (сперва французскую, затем немецкую – других и не было) довольно легко покоривших все прочие «нормальное» государства... Словом, наша государственная «ненормальность» оправдала себя: наша «ненормальность» ничуть не помешала России лидировать среди величайших стран мира».

Не знаю, кого в XXI-ом столетии устроит такая доморощенная философия, которая в минувшем веке именовалась советской ИДЕОЛОГИЕЙ, но вспоминается сожаление ученого-логика Александра Зиновьева по поводу трафаретности наших общественных суждений.

Великий Логик Зиновьев гневался по поводу отказа людей думать самостоятельно и облегчающих себе мыслительный процесс мгновенным применением пословиц и поговорок. Вся эта трафаретность мышления происходила по причине фактического запрета думать и, как следствие, говорить что-либо иное, чем позволяла Коммунистическая партия Советского Союза, внутри которой и возник Русский Орден. Я затрудняюсь комментировать существование пресловутого Русского Клуба иначе, нежели сделал это Александр Байгушев, гораздо больше осведомленный о целях и задачах таинственного Ордена. Но идеи Ордена витали в литературной атмосфере 70-х и 80-х годов, поэтому коснулись они и меня так же, как всех других. Идеи Русского Ордена, основанные на коммунизме и сталинизме, в ряде случаев вызывали у меня чувство протеста, и я пыталась высказать их литературному вождю Коммуно-Русофилов критику Вадиму Кожинову. Однако, вместо деловой коллегиальной дискуссии Старшего с Младшим последовало кожиновское отторжение меня от литературного процесса. Началось это мощное вытеснение не сразу и неявно. Вадим Кожинов поначалу стеснялся идти против такого литературного Мэтра, каковым являлся Николай Николаевич Ушаков, стоявший за мной, словно за шахматной фигурой на шахматной доске. Николай Ушаков написал предисловие к моей первой (оповестительной) книжечке стихов и слыл таким литературным авторитетом, которого Кожинову, - по-видимому, сильно хотелось повергнуть: кожиновские книги доказывают различие литературных взглядов. Взгляды Ушакова и Кожинова сводятся к следующему противоречию: Ушаков настаивал на взаимодействии русской культуры с другими культурами, а Кожинов настаивал на охранительной изолированности русской культуры ради сбережения национальной самобытности. Ушаков говорил об опасности самоуверенности:

«Из всех людей, поверивших в то, что они – боги, за последние 2 тысячи лет, насколько я успел заметить, прав оказался лишь один – Иисус Христос. Остальные – из обожествленных или самозванцы, или ложные

кумиры». Николай Николаевич опасался того, что мне может выпасть судьба сделаться участницею литературно-мировоззренческой войны, о которой он еще никак не мог поведать мне на заре моей юности. Но все-таки однажды Ушаков обмолвился о войне в литературе на примере открытки с репродукцией картины «Девочка с персиками», лежавшей перед ним на письменном столе: «Для начала какой-либо войны в принципе достаточно даже формального повода. Так, например, в один прекрасный момент англичанам, поселившимся в Нью-Йорке, захотелось вытеснить с Манхэттена коренных жителей – индейцев прочь, и они придумали повод. Этим формальным предлогом для войны европейцев-иммигрантов с коренными жителями Америки послужил сущий пустяк: англичане, соседствовавшие с индейцами в мирном благополучии, как-то раз застукали индейского ребенка в саду высокопоставленного англичанина за воровством двух персиков. За то, что ребенок украл у сильного мира сего пару персиков, индейцев на Манхэттене вырезали до последнего младенца. Такой геноцид вошел в американскую историю под названием Персиковой Войны».

Таковы были ассоциации Ушакова в связи с живописным полотном художника Серова «Девочка с персиками». Уже через несколько лет после смерти Николая Николаевича я стала перед выбором: или отвергнуть правило Ушаковского синтеза культур и присоединиться к патриотам – Кожинцам, или мое имя окажется вытесненным из русской литературы. Только после смерти Ушакова, когда я повзрослела, я поняла то, что мой Учитель пытался донести до меня. Отказаться же от всего, чему научил меня Ушаков, так горячо любивший меня, было бы низким, малодушным предательством, и я оставалась на распутье между двумя литературными лагерями: Кожинцами-русофилами и лагерем Интернационалистов. Ушаков умер зимой 1973 года. Представляя меня всесоюзному телезрителю, Андрей Вознесенский выразил соболезнование по этому поводу. Выйдя из телестудии, в коридоре Вознесенский упомянул факт сектанства в советской литературе, что заставило меня задуматься, пойти в Ленинскую библиотеку и

разобраться с этим литературным явлением. Оказалось, что под сектантами понимается политическая группировка вроде еретических сект Скопцов, Хлыстов, Жидовствующих, Духоборов или Краснодраконовцев. В более древние времена существовали секты Последователей Валаама, Таборитов, Арианцев и т.п. Коммунистическая религия с коммуно-идолами Марксом, Энгельсом, Лениным и Сталиным, с ее жрецами из КПСС требовала от своих подданных преданного служения, на которое отнюдь не всегда соглашались писатели. Русский Орден, иначе называемый Русским Клубом, хотя и возник внутри КПСС, однако, тоже отнюдь не во всем следовал коммунистической религии. Разобраться с правилами игры без консультаций у Посвященных мне никак не удавалось. Кожинская «секта» повторяла мне Ленинский ультиматум: «Кто не с нами – тот против нас!» Мне с моим стремлением к золотой середине едва удавалось балансировать между Коммуно-Русофилами и писателями-интернационалистами подобно канатоходцу над пропастью. И все-таки Коммуно-Русофилы отказались терпеть мою центристскую позицию, и представители боевой литературно-идеологической группировки Кожинцев принялись публиковать в партийной прессе пасквили о моем творчестве. Один из сектантских пасквилей выглядел уж просто как хулиганская выходка. Так, будущий редактор упомянутой Кожинской книги Павел Уляшов разразился критической статьей в «ЛитГазете», смысл которой сводился к требованию изгнать меня вон из русской литературы и непременно трудоустроить колхозной дояркой. Вот таким в СССР был уровень литературной критики. Уляшову возразила тогда Светлана Соложенкина – кандидат филологических наук и член Союза Писателей заодно. Публиковалась перепалка в самом начале 80-х годов. Одним словом, не потретила я Русскому Ордену своим классическим стремлением к золотой середине – стремлением к чувству меры везде и во всем, особенно же – стремлением к интеллигентности. Не потретила еще и тем, что в свою очередь отказалась признавать «сектантского кумира» (как называли Кожинова писатели-

интернационалисты) своим литературным поводырем, отказывалась коррумпироваться с его Орденской литературно-идеологической командой. Но согласиться с Кожинным для меня означало предать того, кто последние силы души отдал мне – предать Ушакова. Я никак не могла опуститься до такого малодушия. Конечно, все это печалило меня. Я бродила по зимней Москве, вспоминая Ушаковское: «В молодости я часто бывал в Москве. Помню снежные сугробы в человеческий рост – так, что и ходить по улицам невозможно было, приходилось перелезать через снежные горы. Жители близлежащих домишек откапывались или их кто-нибудь откапывал: так снегу много, бывало, навалит». Ушаков цитировал сокровенные знания Пифагорейцев: «Путь искусства долог» и рассказывал притчу про улитку на дереве – это была притча о точном расчете, а Николай Николаевич пытался притчею об умной улитке донести до моего детского сознания пользу точного мышления: «Ползет по вишневому дереву улитка в холодный весенний денек, когда только-только начинает таять снег. Воробьи обсмеивают улитку: «Послушай, на этом безлиственном дереве еще нет никакой зелени, не то, что вишен. Зачем же ты трудишься, улитка, пыхтишь, ползешь?» Мудрая улитка нашла достойный ответ насмешникам: «Я ведь не сразу доберусь до плодовых ветвей. К той поре они зазеленеют, отцветут и созреют». Вот что такое точный расчет и умение мыслить упредительно. Без этого нельзя».

Затем я бродила по майской Москве и слушала первых соловьев в Филевском парке. Благоухала майская зелень; мне было 27 лет, жила я одиноко и согревалась памятью об Ушакове, так не вовремя умершем. Вспомнилось, как весной 1966 года в Киеве Николай Николаевич вышел во дворик проводить меня. На каштановом дереве среди белых цветов жалобно мяукала кошка, боявшаяся спускаться вниз. Ушаков обратился к кошке: «Мурочка, не бойся, слезай, кися-кися!» Но Мурка вопила и упорствовала. Ушаков еще поугваривал кошку, та – ни в какую не спускается, трусит.

Тогда старик приказал: «Все, Мурка! Хватит жаловаться, займись-ка делом: вей себе гнездо на дереве, раз тебе так понравился каштан».

Однажды мы заспорили с ним о музыке. Тогда Николай Николаевич поразил меня широтой своих познаний и интересов. Ушаков сказал: «Известны феноменальные особенности композиторского слуха. Так, например, Римский-Корсаков и Скрябин видели аккорды окрашенными в разные краски. О Глинке ничего особенного не известно, а вот я люблю его. Как величественно исполнял романсы Глинки певец Шаляпин! Мало кто знает историю появления на свет Глинки. Композитор Глинка родился в собственной усадьбе под соловьиные трели. В старину придавали значение приметам, поэтому всем запомнилось, как повивальная бабка предрекла младенцу музыкальное будущее. Отношение же к богеме у достойных родителей композитора Глинки было презрительным, поэтому радость повитухи вызвала сомнение у родственников, и ее выпроводили едва ли не с подзатыльниками. Но композиторский дар, предсказанный женщиной из простонародья, все-таки пробился наружу, и юноша Глинка наконец совершил непростительный, просто безумный поступок: будущий композитор оставил выгодную чиновничью должность в департаменте и занялся сочинительством музыки. Отец композитора сокрушенно вздыхал: - Соловей под окном роженицы превратил моего сына в скомороха!»

Ушаков улыбался, поглаживал свои белые пышные усы и продолжал: «Кстати о Шаляпине. Он высоко ценил голос диктора Левитана. Этот выдающийся голос, звучавший на весь Советский Союз, для меня связан с Великой Отечественной войной. Шаляпин называл голос радиодиктора Левитана исключительным и вековым. Голос Левитана передавал радиослушателям (а тогда телевизоров еще не было) мужественную веру в победу над Гитлеровской Германией... По возрасту и состоянию здоровья мне пришлось находиться в эвакуации, но когда я вернулся из Азии на Украину, я увидел разбомбленный Киев, взорванные копры донбасских шахт, подорванные домны металлургических заводов Запорожья, развалины

и руины всюду по всей Украине... А вот – касательно Глинки. Как величественно исполнял Шаляпин романс Глинки «Сомнение»! Исполнительское мастерство Шаляпина донесло до нас в одном лишь этом вокальном произведении целую гамму переживаний: страдание, гнев, надежда, радость от мысли про любовь... Бездарность отличается от талантливости скудностью эмоций. Бездарность рациональна и прагматична, равнодушна и черства, не умеет чувствовать. Бездарность даже когда кипит, все равно производимое ею творчество остается холодным и скудным. Важнейшие признаки художественной одаренности – это изобилие эмоций, непохожесть, оригинальность, а также эмоциональная отзывчивость впечатлительной, ранимой природы творца. Вот почему литература наполнена такими разными словесными художниками: одни умеют переживать, чувствовать, воплощать, а другие хотят это уметь, но никак не могут, и остается этим другим скверная участь сделаться завистниками, клеветниками, сплетниками, очернителями, осквернителями, да интриганам. Поэзия таких безнравственных бездарей – тот еще подарочек для читателя! Знаете, после войны был голод, а мне повезло немножко подзаработать денег к новому году. И решил я сделать жене сюрприз: купить на праздник гуся. Кругом разруха; то снег валит, то мороз трещит; продовольствие выдают по карточкам, хлеба – и того в свободной продаже нет в магазинах. Так что помчался я на базар, купил мороженого гуся, завернутого в газетку (целлофановые пакеты еще не были изобретены), приношу жене на кухню бесценного по тем временам гуся. Жена разворачивает газету, смотрим, а у проданного гуся нет одной лапы – другая отрезана, а я-то платил за целого! Сумма астрономическая... Вот каков оказался наш первый послевоенный гусь – разочарование под елкой и дурацкие уговоры: ты съешь единственную лапу; нет, не я, а ты сам съешь!.. Мы с женой помирились на том, что отдали единственную гусиную ножку больному соседскому ребенку, а гуся порубили на части да раздали всем, кому могли; ну, и себя не обидели... Так и в поэзии. Читатель ждет от поэта

настоящего гуся с обеими лапами, а ему подсовывают благонадежное рифмоплетство наподобие однолапного гуся. Сколько таких «однолапых гусей» нынче в газетах, в книгах! Куда деваться от них читателю? Ничего, мол, скушали и еще скушают! Поэзия девальвируется из-за массового рифмоплетства. А где оберегающая критика? Где литературоведение? Сегодняшний дилетантизм в литературоведении тоже огорчает: «Как и у Шекспира, - высказалась тут одна критикесса, - герой литературного произведения женат, мучается той же ревностью, что и 400 лет назад. Сюжет классический: Ромео любит Джульетту, Отелло душит Дездемону». Вот и все литературоведение. Ну, не без исключений, конечно же... Например, Евгений Абрамович Адельгейм... Однажды Адельгейм развеселил меня анекдотом про художественное полотно Малевича «Черный квадрат». Будто бы из музея в сотый раз похитили воры этот, с позволения сказать, шедевр и будто бы сантехник дядя Ваня за бутылку водки в сотый раз успел к утру восстановить пресловутый шедевр... Профанация литературы и искусства есть прямое мошенничество! Как юрист по образованию это я со знанием дела говорю. Людей дурачат в самом сокровенном – там, где люди ищут спасительную отдушину. А ведь труженики Пера или Кисти призваны небесами служить благородству. Ах, как хорошо сказал о нашем призвании Пушкин: «И чувства добрые я Лирой пробуждал»!

Николай Ушаков требовал от меня ясности в изложении мысли. У меня в юности с этим было туманно. Николай Николаевич сидел за своим письменным столом, я рядом на стуле и замечала, как мой литературной Учитель старается понятно изложить мне то, что он требует от меня. Ушаков помолчал и вымолвил тихим, больным голосом глубокого старца: «Еще я хотел сказать о том, что недомолвки (плохо выраженная мысль) приводят к недоразумениям. Так, например, две мои знакомые дамы однажды не поняли друг друга, и произошел казус. Одна дама попросила другую связать свитер с прорезями по бокам и с глубоким вырезом. Подруга любезно вывязала из своих ниток довольно симпатичный свитер 48 размера. Когда заказчица

получила от подруги этот подарок, выяснилось, что свитер нужен был пуделю, который мерзнет в зимнюю стужу. Вот что такое туманно выраженная мысль. Поэзия требует вразумительности. Впрочем, поэтическая мода отвергает требования Классики. Что делать нам с модой? Делайте все, что хотите: вольному – воля, как говорится... Но житейская практика доказывает, что любая мода подобна ветру: то он есть, то нет его. А Классика незыблема. Классика – это каменный фундамент, на котором зиждется тысячелетняя культура России. Наша культура сравнительно молодая, ее следует обогащать лучшими традициями других классических культур. В синтезе разных культур состоит одна из задач русской Поэзии. Человеческая эволюция вообще является следствием взаимодействия различных знаний и культур. Без синтеза культур нет развития. Это философская аксиома. Культурная изоляция без подпитки ручейками других культур превратила бы чистое озеро русской культуры в затхлое болото. А закон Эволюции лежит в основе человеческого бытия. Культура в классическом понимании сегодня упразднена политической пропагандой. Это напоминает мне детский анекдот про антикварную вазу. Девочка дипломатично желает признаться в проступке и начинает издали, она сообщает мне о том, что в их семье существует традиция передавать антикварную вещь из поколения в поколение. Мама подтверждает: да, это так, традиция существует. Девочка-подросток осторожно сообщает: «Мама, мое поколение нечаянно покончило с этим пережитком прошлого – разбило антикварную вазу. Но ведь и без неё можно жить, не правда ли? Ничего не случилось». В этом-то всё и дело: ничего не случилось или все-таки случилось что-то? Ведь Культура, в том числе Поэзия, воплощает в себе народную душу. Если это так, то разбить (или подменить вазу), которая содержит букет народной души, – дело серьезное».

Могла ли я предать такого искреннего старшего друга, которым приходился мне Николай Ушаков?! Нет, никак не могла, хотя было очевидно, что я теряю литературные выгоды: публикации, выступления, книгоиздания,

зарубежные поездки от Союза Писателей СССР и много другого, чего меня лишили влиятельные сектанты от литературы. Но предательство Ушакова было бы предательством самой себя, поэтому ничего не оставалось, как претерпевать злоключения писательской «карьеры». Поздней осенью бродила я по Москве, вздыхая о том, что литературные сектанты изгоняют конкурентку уже с помощью недозволенных приемов: сплетен, очернения имени, распространения порочащих и заведомо недостоверных слухов. Я бродила по осенней Москве, вспоминая рассказ Ушакова о скрипаче Паганини: «Все великие люди имели какие-либо нехарактерные особенности судьбы. К будущим выдающимся людям практически всегда ближе окружение относилось предвзято, подозрительно или неприязненно. Причина коренится в непонимании людей нестандартных – чужаков, в отторжении нетипичных людей из числа обыкновенных. Так, существовала итальянская легенда о том, что музыкант Паганини обрел свою сверхчеловеческую одаренность в скрипичной игре у самого дьявола – обрел в обмен на собственную душу. В самом деле конфликтный характер Николы Паганини рассорил его со всемогущей католической церковью. Из-за вероотступничества Николо Паганини, когда его жизнь оборвалась, умершего музыкального гения церковь не отпевала и распорядилась захоронить тело Паганини на кладбище для прокаженных (вблизи города Ниццы). Но тут произошло неожиданное: правоверные католики города Ниццы умучили жалобами градоначальника – жалобами на мертвого Паганини! Дело в том, что непостижимым образом все горожане стали слышать по ночам дьявольскую игру скрипки Паганини – безусловно, мертвец, продавший при жизни душу дьяволу, поднялся из могилы и нарушил покой обывателей душераздирающе печальной музыкой, от которой горожане лишались сна. Ведь Паганини завещал свою скрипку другому итальянскому городу – Генуе и желал быть погребенным в Генуе. То есть последнее желание Николо Паганини исполнено не было. По мнению мистически настроенных католиков скрипичная игра на кладбище среди

прокаженных по ночам являлась мезтью музыканта. Так клевета сопутствует выдающимся личностям. Я заметил, что гениальные личности живут бедно, а наследники гениев богато. Еще я заметил следующее. Русский человек убежден, что если в своем автомобиле он едет прямо, то это будто бы значит, что он едет по главной, правильной, так сказать, дороге».

Кожинцы до сих пор убеждены в своей правоте. Признать ошибки они считают позором. Я же считала бы это вслед за Ушаковым проявлением величия души. В конце концов ошибаться свойственно всем. Так, поучительна история ошибки, произошедшая с писателем Бальзаком, рассказанная мне в назидание Николаем Ушаковым. Белоусый старец заметил во мне, юной поэтессе конца 60-х годов, предвзятое отношение к рифмованному стиху – отрицательное. Рифмы усыпляли меня, а экспериментаторство в изящной словесности воодушевляло. Николай Николаевич терпеливо улыбался: «О предвзятом отношении вообще как о правиле можно говорить и на примере Бальзака: даже этот великий человек был уличен в предвзятости. Так, однажды знаменитый романист увлекся модной тогда наукой «графологией» и прослыл в ней знатоком. И вот как-то раз творческое уединение Оноре де Бальзака потревожила старушка, принеся писателю на просмотр пожелтевшую от времени школьную тетрадку. Старушка просила гениальную личность предсказать по почерку ученика его судьбу. Оноре де Бальзак сосредоточился на поставленной задаче, полистал тетрадь и вынес приговор: - Ребенок, накалякавший здесь каракули, конечно, неусидчив, глуп и бездарен. Его ожидает самая заурядная человеческая судьба».

Старушка улыбнулась, встала, выложила на письменный стол писателю тетрадь и произнесла: - Милое дитя! Ты не узнал своей учительницы. Ведь это твоя собственная тетрадь!

Вообще Бальзак был весьма любопытен к людям, интересовался бытом простонародья и часто ради профессионального интереса прибегал к специальной писательской маскировке. Для этого Оноре де Бальзак

облачался в рубище оборванца, напяливал на затылок засаленную шляпу и становился непохожим на самого себя. В таком неузнаваемом облике прославленный романист наблюдал бытовые сценки, подслушивал своеобразную речь простолюдинов, фиксировал зрительной памятью народные типажи, а затем уединялся в рабочем кабинете и писал «Человеческую комедию». Бальзак расхохотался, поднял руки перед учительницей со словами: «Сдаюсь!» и признал, что ошибся. Теперь много лет мы все смеемся над этим, но никто ведь не осуждает Бальзака!»

Покровительство Ушакова принесло мне уважительное отношение со стороны таких выдающихся советских поэтов, как Илья Сельвинский, Павел Антокольский, Давид Самойлов, Лев Озеров, Андрей Вознесенский, Владимир Соколов, Михаил Львов, Владимир Солоухин, Алексей Марков, Николай Тряпкин, Николай Старшинов и многих других достойных советских литераторов. Я поддерживала теплые отношения с Василием и Ларисой Федоровыми, с Тамарой Пономаревой и Александром Бобровым, знавшем меня с 1967 года – со времени совместной учебы в Литературном институте и публиковавшем в газете «Литературная Россия». Но такая сильная конкурентка ничуть не устраивала Кожиновцев – правильных, благонадежных для коммунистического режима, тихих в своей благонамеренности, как омут, про который однажды поведал мне Ушаков, когда оба мы поверглись в меланхолическую задумчивость. Ушаков подумал и произнес: «Ну, да к чему говорить все о грустном? Вот расскажу лучше смешное. Певец Шаляпин и художник Коровин были друзьями-рыболовами. И стали они удить рыбу в речке Нерли. Как вдруг повадился в рыбный омут рядом с ними удить рыбу сельский поп. Ни поговорить, ни уединиться в целебном покое у знаменитостей не получается: и вчера поп пришел – расселся, и нынче... Решили озорники отвадить попа. Для этого добыли бычий пузырь, надули, разрисовали масляными красками – получилась звериная морда, облепили морду водорослями и привязали к ней веревку с грузилом. И вот снова появился в тихом омуте поп с удочками, расселся,

скучает: не видит нигде своих соседей – интеллигентных рыбаков, ведь озорники спрятались в ивняке да притаились. Шаляпин улучил момент, дернул веревку, как вдруг вынырнула из воды в том тихом омуте страшная рожа, даже, кажется, подморгнула попу и вновь опустилась под воду. Поп насторожился, перестал наблюдать за поплавками и вытаращился на водную гладь. Как тут Коровин улучил момент и дернул веревку: снова звериная морда вынырнула из тихого омута, выпучила зенки на попу и снова погрузилась. Поп закрестился: «Водяной! Водяной!»

Бросив удочки, да подхватив фалды, сельский поп бегом заковылял прочь. Шаляпин с Коровиным выбрались из ивняка и сказали вслед попу:

- Да, в тихом омуте черти водятся! Теперь точно знать будешь».

Подрыв стабильности конкурента любыми способами был выгоден Кожинцам, которым я сопротивлялась.

Разумеется, здесь я исходила из моральных установок Киево-Ушаковской Литературной Школы, которой явно или неявно противостоял Кожинский Литературный Лагерь, причем, в силу многочисленности последнего противостоял монолитной стеной вместо того, чтобы обрести компромисс для объединения с генетически родственным писательским отрядом, возглавленным Николаем Ушаковым, с отрядом, безуспешно искавшим взаимопонимания и дружбы с Кожинцами. Одна только Татьяна Глушкова, имевшая «шапочное» знакомство с Ушаковым, легко и беззастенчиво поступилась неписанным Кодексом Чести Ушаковцев, переметнулась к Кожинцам и нарушила закон ушаковской солидарности. Она с драконьей яростью разнесла в клочья репутацию поэта-антисталиниста Ильи Сельвинского – друга Ушакова, затем мое творчество, принося мне, между прочим, неожиданные дамские извинения за вынужденность поступков. Истинные же, последовательные Ушаковцы не извинялись, если совершали свои (всегда обдуманые) поступки. И не совершали ничего, что вызывало бы угрызение совести. Нравственная нечистоплотность

многочисленного Кожиновского Лагеря объяснялась безмерной раздутостью этой литературно-идеологической группировки, в которой ошивалось больше эпигонов, чем подлинных художников слова.

Ушаков эпигонов не терпел и никогда не цацкался с ними в отличие от мягкохарактерного Душки Кожина, как называли его Кожиновцы. Слово «дисциплина» для Ушаковцев-литераторов являлось таким же точно незыблемым законом, каким являлось слово «дисциплина» для моряков флотоводца Федора Ушакова, причисленного к лику святых. Советский критик Виктор Тельпугов написал очерк о Николае Ушакове: «Человек, гражданин, поэт». Когда Тельпугов работал редактором в издательстве «Советский писатель», он выезжал на 3 суток в киевскую командировку для редактирования книги Ушакова. Был послевоенный май. Они гуляли по разбомбленному Киеву, куда уже вернулись соловьи. Тракторы там и сям разгребали после немецкой бомбежки завалы старинных зданий. Ушаков, вернувшийся из ташкентской эвакуации, улыбался: «Жизнь отстраивается! Ведь мы победили!»

В критико-биографическом очерке об Ушакове авторитетный советский критик Тельпугов свидетельствует: «Ушаков являлся мастером филигранной шлифовки художественного слова, ненавидел невнимательность и трафаретность в поэзии. Ушаков считал, что умение подмечать деталь – это уже умение видеть целое». Ушаков сплавил в себе русскую культуру с украинской, поэтому возразил Тельпугову, когда в литературоведческой книге об Ушакове тот попытался отсечь украинские мотивы от русской творческой сути Ушакова. Николай Николаевич считал украинский колорит для себя и для его поэзии неотъемлемой частью. В моей ранней юности, например, я слышала от Ушакова удивительное суждение: «Павло Тычина в значительной мере следует Лермонтовской традиции русской литературы». Сплав русского с украинским, – вот этот синтез является ключевым и для творчества Ушаковцев, взявшего за пример Гоголя, и для Ушакова – последователей интеллигентной литературной школы Николая Ушакова.

Литературный критик Виктор Тельпугов отмечал в своей книге такие особенности творческих достижений Ушакова, как, например, новизна и неожиданность Ушаковской ритмики, ритмическое разнообразие поэзии Старого Мастера. Далее в упомянутом очерке Тельпугов пишет: «Литературно-критические статьи Ушакова являются образцовыми». Таким образом, возникают новые основания для вывода о том, что работа Ушакова в жанре, прямо противоположном поэзии – литературоведческом – не вызывает сомнений у профессионалов академического склада, т. е. у профессионалов, избавленных от идеологического фанатизма. Сторонник Чистого Искусства Николай Ушаков навсегда вошел в историю советской поэзии как личность чистая во всем, как писатель, поставивший целью ничем никогда не запятнать свою честь и достоинство. И Ушакову удалось это: он умер в чистоте собственной души и собственных творений красивым старцем, ничем не запятнавшим свои седины. В эпоху сталинско-брежневских гонений на Ахматову, Зощенко, Шостаковича, Пастернака и т. д. Ушаковское Мужество дорого стоило.

Идеолог Кожин еще только на свет народился, когда Николай Ушаков фактически приступил к созданию своей знаменитой Ушаковской интеллигентной школы. Моя отроческая память сохранила то, как Николай Николаевич вспоминал осень 1925-го года, когда он прибыл из Киева в Москву и встретился с литераторами Тургановым и Сацем. Собрались они в извозчицкой чайной у Ярославского вокзала и основали свою собственную писательскую организацию «ЦЕНТРОСТИЛЬ» в пику самоучкам из Всероссийской Ассоциации Пролетарских Писателей. Это было подобие филиала Литературного Центра Конструктивистов. И вот на квартире Ильи Сельвинского предстал новорожденный «Центростиль» в полном составе. Докладчиком был избран Ушаков, чьими литературными наставниками той поры являлись Маяковский и Асеев. «Центростиль» истолковывался как центральный стиль эпохи. Задачей «Центростиля» являлось сопротивление УТИЛИТАРИЗАЦИИ поэзии, от которой советская власть потребовала

исполнять комиссарские обязанности пропаганды и агитации. В 1925-м году в Киеве вышел в свет альманах «Центростиль» с декларацией, в которой Ушаков со товарищами-теоретиками формулировали свои поэтические лозунги, актуальные для того времени. Это происходило на заре поэтической карьеры Ушакова. А через полвека, на закате жизни, общепризнанный литературный классик Ушаков сформулировал уже в одиночку другие – отстоявшиеся лозунги своей литературной школы. Я перечислю их:

1. Поэт должен быть неповторимой индивидуальностью.
2. Поэт должен иметь характерный словарь.
3. Поэт должен иметь отличительную от всех собственную образную систему и стилистику.
4. Поэт должен владеть отличительными манерами стихосложения (вплоть до особого построения композиции).
5. Поэт должен отличаться от поэзии прочих стихослагателей особенной ритмикой.
6. Поэт должен обладать оригинальной литературной инструментовкой стиха.

Касательно ушаковской ритмики однажды в ранней юности беседовала я с украинским литературным критиком Евгением Адельгеймом, знавшим Ушакова еще до создания Центростиля. По-отечески опекавший меня в Киеве Адельгейм утверждал, что ритмическая музыкальность поэзии Ушакова заставляет видеть в нем нового Фета. Евгений Адельгейм отмечал сходство поэтических манер Фета и Ушакова в искусстве изображения тонких душевных наблюдений. Крупный украинский литературовед Адельгейм утверждал, что Ушаков развил Фетовскую манеру стихотворчества и преобразил ее – адаптировал к новому времени. Ушаков дружил с Адельгеймом, бережно щадившим ушаковскую застенчивость, такт и деликатность. Адельгейм рассказывал мне про совместное с семьей Ушакова пребывание в писательском доме творчества «Коктебель». Там Николай Николаевич прикормил ежа, который утром и вечером наведывался

к своему доброму приятелю поэту Ушакову. Поэт приносил ежику остатки столовской каши, мяса, рыбы, яиц, молока. Николай Николаевич вместе с женой устроили прирученному ими ежу уютный закуток из коряги и мха. Ежик настолько доверился ласковому старику, что даже позволял брать себя на руки и гладить его пушистый и жирный животик. Но, кроме ежа, был у Николая Николаевича еще любимый колхозный жеребенок. Поэт посылал жену на базар за зелеными стручками гороха, лакомился вместе с Татьяной Николаевной Белогорской-Ушаковой зеленым горошком и бережно складывал в бумажный кулёк длинные гороховые створки. Затем Ушаков с женой находили колхозного жеребенка за деревянной изгородью вместе с маткой и кормили детеныша сладкими, если в самом деле попробовать жевать, створками молодых стручков гороха. Еще в Коктебеле Николай Николаевич умудрялся ловить крабов. Наловит полный таз, а дальше не знает, что с ними делать и дарит мальчишкам. Но ушаковская щедрость как-то раз сослужила ему неуклюжую службу. Уж так вышло, что осчастливил поэт Ушаков полным крабами тазом местного подростка-сорванца, а тот вместо того, чтобы поиграть крабами да выпустить обратно в море, решил продать мертвых крабов в качестве сувениров многочисленным туристам. Но убивать их в кипятке сорванцу было жалко, и он решил умучить до смерти крабов тройным одеколоном. Залил несколько пузырьков одеколона в таз и что тут началось?! Весь Коктебель сбежался глазеть на пьяных морских крабов. Твари сперва вступили в смертный бой друг с другом, а затем так злобно и яростно расползлись по пляжу, что никто не отважился ни ловить их, ни спасать. Ушаков тогда очень разобиделся на мальчишку и объяснил сорванцу, что каждое живое существо имеет право на жизнь. Мальчик устыдился и убежал. Адельгейм посмеялся Ушаковской доверчивости. Как-то знойным летним вечером разговорились они у моря о цикадах. Ушаков разразился тирадой относительно певческих способностей коктебельских цикад. Прогуливаясь вдоль моря, Ушаков всесторонне анализировал в беседе с Адельгеймом произведение Державина «Похвала сельской жизни» – там

Державин идет по следам Горация и поэтизирует хозяйский склад своей **НОВГОРОДСКОЙ УСАДЬБЫ**. Когда впоследствии пришлось мне оправдывать перед Кожиновым «западничество» Ушакова, ссылаясь на Ушаковское обожание поэзии Державина, тому нечего было возразить, кроме недовольствия от Ушаковского **КУЛЬТУРТРЕГЕРСТВА** – т. е. от его поэтической миссии культурного просветительства. По мнению Кожиновского Литературного Лагеря культуртрегерство чаще опасно, нежели полезно: ведь оно заражает западной инфекцией чистый родник национальной русской культуры. А потому будет безопаснее для русской литературы всяких Культуртрегеров (вроде меня) держать и не пущать!

Судя по всему, Кожинов разделял общее мнение примкнувших к Русскому Ордену советских поэтов относительно того, что литература, как и военное дело, должна оставаться занятием сугубо мужским. Для доказательства справедливости данного шовинистического решения мужчины-поэты в качестве аргумента приводили случай с одной стихоплёткой, произошедший в одном престижном доме. Какой-то партийный функционер пригласил к себе молодую провинциальную поэтессу, кажется, из Тамбова, она звонила ему в дверь, но никто не отворял – ясно было, что чиновник, суливший провинциалке выгодную поэтическую карьеру, просто опаздывал. От досады девушка села на ступеньки и принялась рассматривать старинные перила лестницы с затейливыми чугунными прутьями. Чтобы как-то справиться с распиравшим девушку чувством досады, тамбовская поэтесса решила поразвлечься: взяла да и сунула голову между чугунными прутьями перил. Когда же она попыталась вынуть голову назад, то выяснилось, что голова застряла между чугунными прутьями. К полному горю молодой тамбовской поэтессы тут появился партийный функционер, пригласивший её на свидание. И, вот, вместо чтения стихов за пиршественным столом у влиятельного чиновника, началось распиливание старинной чугунной решётки, скопилась уйма болельщиков, когда вдруг появился слесарь, наклонил девичью голову до самого нижнего

края, ловко, словно фокусник, повернул голову и вынул через едва заметное расширение чугунных прутьев вниз. Этот случай назавтра стал известен в ресторане ЦДЛ всем мужчинам-поэтам, которые сделали вывод, что «у баб – мушинные мозги» - это знаменитое высказывание по тому поводу Юрия Кузнецова. С этой истории мужские шовинисты сделали вывод о том, что литература должна оставаться занятием сугубо мужским. Однако, поэтесс приглашали вступать в Союз Советских Писателей с той целью, как выяснилось позже, чтобы они служили походными женами. Были же такие на Второй Мировой войне у наших генералов! Даже детей рожали. Правда, перспектива женщине-поэтессе стать походной женой литературного генерала выпадала вовсе не всегда: например, горбатую, усатую или какую-нибудь кривоглазую поэтессу принимали в Союз Советских Писателей «для кворума» - ради участия в политической борьбе с целью укоренения советского строя. Ушаков признался в Коктебеле своему другу Адельгейму: «Да, советской власти хочешь или не хочешь, а сочувствовать приходится. Так вот, я очень сочувствую коммунистам, даже соболезную». Литературовед Адельгейм, поддерживавший меня за мое скандальное стихотворение о строительстве коммунизма «Канавы» [1966 год, Киев] познакомил меня с интересным поэтом Борисом Слуцким, жена Адельгейма – с Цилей Сельвинской. Киевская литературная интеллигенция добивалась моего участия в московском литературном процессе, влиявшем на весь литературный процесс Советского Союза. Шестидесятые годы XX-го столетия, когда я входила в Литературу, были названы периодом советской политической оттепели, когда я познакомилась волею обстоятельств с поэтами московского Андеграунда: Леонидом Губановым, Владимиром Батшевым (ныне живет в Германии), Дмитрием Савицким (ныне живет во Франции), Александром Антоновическим (США), Сашей Соколовым (США) и многими другими прославленными эмигрантами, потерявшимися во времени и пространстве. Да и молодость наша миновала. С удивлением держу в руках фотографию начала 70-х лет: коллективный фотоснимок

совещания молодых писателей. Михаил Дудин придерживает меня, стоящую в центре, Куняев со своим преемником Олегом Кочетковым скромно пристроились где-то сбоку. С тех пор у меня издано 7 книг поэзии и 10 книг эссеистики, а литературная энциклопедия доказывает мне, что меня не существует и не существовало никогда. Прав был Илья Сельвинский, говоривший мне, что литература – это политическая игра, где сражаются 2 группировки: сталинисты и антисталинисты. Мне хотелось быть между ними обеими, но я слишком много думала о приличии. Ведь так наставлял меня Ушаков. Однажды Николай Николаевич рассказал мне следующее. «У соседей до войны жил говорящий попугай, привезенный аж из Индонезии. А еще жила у них кошка, которую попугай очень уважал. И вот соседский попугай научился подражать кошачьему наречию – мяукать. Умная птица сообразила, что хозяева всегда выпускают гулять кошку после мяуканья и тоже начала проситься на волю с помощью мяуканья. Хозяевам пришлось всякий раз отворять дверцы клетки да выпускать попугая полетать после того, как попугай прокричит «Мяу»! Но, если задуматься, все же попугаю не приличествует мяукать – это кошачий язык. То же и с поэзией. Поэту не к лицу выходить за рамки приличий, - в данном случае я только это хочу сказать».

Ушаковская щепетильность ценилась в мире советской литературы далеко не всеми. Кожиновцы отмахивались от этого дворянского аристократизма, как от пережитка прошлого; я замечала это.

Ушаковское изящество тоже претило Кожиновцам, привыкшим видеть в мужчине животное начало, силу, властелина жизни, но отнюдь не такого интеллигентного озорника, которого представляет читателю Ушаков:

«Ножничками черными своими
Подстригала ласточка траву
И меня спросила: – Ваше имя?
Своего я Вам не назову».

На рабочем столе Николая Ушакова помнятся мне высокие стопки книг

по различным отраслям знаний – далеким от поэзии: по минералогии, нумизматике, горному делу, книга о северном сиянии, путеводитель по Киеву. Столица древней Руси восхищала Ушакова своей таинственностью, и он писал о ней поэтическую прозу. Ушаков вместе с женой исходили весь Киев пешком, о чем написал прозаическое произведение «Повесть быстротекущих лет». Максим Рыльский дал высокую оценку этой прозе Поэта. Здесь *исследователь древней Русской Цивилизации Николай Ушаков* рассказывает о том, что на правом берегу Днепра в Киеве, именуемом Подолом, летом 1706-го года в малой, но чисто выбеленной украинской хатке под соломенной крышей жил русский самодержец Петр I и готовился к войне, а на Печерске (где ныне живут мои родители) возводил боевую крепость. Петр брал деньги займы у монахов в Киево-Печерской Лавре, но долг так и не вернул, снял колокола и перелил на пушки.

В Лавре русский Царь познакомился с украинским священником, философом и поэтом Феофаном Прокоповичем, оказавшим исключительное по благотворности влияние на Царя-реформатора. Русский Император Петр по рекомендации Прокоповича потребовал повсеместного в Малороссии насаждения винограда и шелковицы, принуждал крепостных малороссов заниматься разведением шелковичных червей и шелкопрядством, призывал заводчиков производить хрустальную посуду, изготавливать зеркала...

Советско-русский литературовед Тельпугов отмечал, что *«профессионально заниматься прозой Ушаков начал во всеоружии жизненного опыта... Много интересного найдем мы и у Ушакова – литературного критика. Критические статьи Ушакова являются образцовыми»*.

Мой первый Учитель литературы (если не считать матери, принуждавшей меня заниматься поэзией под давлением репрессивных мер) был прост и доступен людям, постоянно работал за писательским столом. Однажды Николай Николаевич осчастливил меня демонстрацией своего фотоснимка, сделанного в Москве несколько лет назад в начале

60-х годов: Ушаков стоит вместе с Юрием Гагариным! *Какие две редкостные личности из племени Великороссов: Ушаков и Гагарин! Если не изучать их биографии, не подражать им, – это значит: выродиться, переродиться, перестать быть русскими людьми. С надеждой пишу я сейчас мои горячие строки полные любви к тем, кто их прочитает – с надеждой на то, что у моих молодых читателей взиграет-таки Русский Дух, уничтоженный в моем послевоенном поколении коммунистическим интернационализмом, и этот Русский Дух вдохновит молодежь XXI-го столетия взять себе за образцы для подражания Николая Ушакова и Юрия Гагарина. Ведь обе эти личности героического склада, что и означает: русского.* Ну, – скажет Читатель, – с космонавтом Гагариным все ясно, а в чем героика писателя Николая Ушакова?

Давайте вместе откроем книгу художественных переводов «Ветер Украины» [1943 год, Ташкент], которую в эвакуации составил Николай Ушаков и прочитаем поистине героическое по своей сути Ушаковское предисловие:

«Неизвестный автор летописи «Слово о полку Игореве» с великой скорбью говорит о страданиях и муках Киевской Руси. Украинская земля видела половцев. Ее топтали верблюды и кони Батыя. Украинская земля боролась с турецкими набегами. Ей грозили немецкие рыцари-псоглавцы и угорские средневековые феодалы. Украинскую землю попирали чванливый шляхтич. Ей угрожал Карл XII. Австрийские оккупанты сжигали в 1918-м году украинские села артиллерийским огнем, вешали и расстреливали украинцев. Стонала Украина от своих западных границ до земель Великого Войска Донского. И снова захватнические орды напали на Мать-Украину: на этот раз – немецкие фашисты вперемежку с венграми, итальянцами и румынами ворвались на Советскую Украину... Но Украина протестует и борется! Украина не молчит! Дух Украины не сломлен. Украина не покорена. Украинцы объявили тайную войну

захватчикам по известному принципу: ЛУЧШЕ ЖИЗНЬ ПОЛОЖИТИ ЗА ОТЧИЗНУ, ЧЕМ СДАВАТЬСЯ В ПЛЕН ВРАГУ НА УКОРИЗНУ. Таков был боевой девиз доблестных украинских рыцарей славного Войска Запорожского.

На партизанском знамени народных мстителей есть лозунг: ЛЕГЧЕ ВЫРВАТЬ СЕРДЦЕ ИЗ УКРАИНСКОЙ ГРУДИ, НЕЖЕЛИ СВОБОДНОГО УКРАИНЦА ПРЕВРАТИТЬ В РАБА. Украина не сдается, она наступает. Немецко-фашистскому духу противопоставлен гордый украинский дух Богдана Хмельницкого... Не умирает и украинская культура в годы Великой Отечественной Войны: призывает к борьбе и участвует в ней».

Украинский лирик Леонид Вышеславский восхищался стихами Ушакова на фронтовые темы. Тяжело больной сердцем Николай Николаевич с заметным сиплым, затрудненным дыханием в эвакуации создал ушаковский поэтический шедевр «Стойкий солдат». Это стихотворение о войне представляется Вышеславскому миниатюрным подобием «Василия Тёркина». Леонид Вышеславский отмечает, что «Стойкий солдат» Ушакова своеобразен, как и все Ушаковское творчество, и что этот поэтический шедевр является «тем крохотным зерном, из которого в русской поэзии выросла целая книга о солдате Василии Тёркине».

Однажды Вышеславский спросил Ушакова о знаменитых поэтах начала XX-го века, среди которых вращался Ушаков. Николай Николаевич, по свидетельству Вышеславского, ответил следующее: «Семен Кирсанов, с которым я встречался у Маяковского в «ЛЕФе», заметил однажды, что нам остаются лишь воспоминания. На это я возразил Кирсанову: нет, остается также поэзия, остаются горестные раздумья о пережитом, а еще остаются ученики».

Хочется верить, что в этот момент Ушаков помнил и обо мне, грешной. Ведь ровно за 1 месяц до смерти Ушаков по обыкновению последних лет

думал обо мне, занимаясь исследованием верлибров (и моих, в частности), занимался созданием теории верлибра. К той поре уже вышла весной 1973 года в Москве моя первая ласточка – книжица стихов со строгим Ушаковским предисловием, и Николай Николаевич ждал меня в Киеве, чтобы обсудить со мной волнующую тему полулегального в России и почти запрещенного Москвой (в частности – Кожиновым) литературного способа самовыражения – злосчастного верлибра. Ровно за 1 месяц до смерти 17-го октября 1973 года Ушаков пишет в письме критику Адольфу Урбану: «Продолжаю заниматься верлибром как возможной новой энергией увядающего традиционного стиха». Вспоминал о теоретических спорах из-за верлибра, вошедшего в литературную моду Украины во времена Хрущевской Оттепели, и Леонид Вышеславский. Он свидетельствует в мемуарном коллективном сборнике «О Николае Ушакове» о том, что «не всем участникам спора был по зубам твердый орешек – верлибр». Вышеславский пишет в мемуарах: «Очень характерно, что *в верлибре Ушаков находил ясность, цельность и гармонию*. Если же трех перечисленных качеств не оказывалось в верлибре, то обнаруживался на месте их отсутствия РАСПАД поэзии... Ушаков говорил мне, что верлибр – это *новая ГАРМОНИЯ* поэзии, где происходит намеренное сосредоточение читательского внимания на равновесии зрительного ряда – поэтической ритмики... В журнале «Радуга» за 1971 год № 12 Николай Ушаков писал о разновидности верлибра – об АКЦЕНТНОМ стихе, находящемся в стадии поиска, который отличается гораздо большей ритмической музыкальностью, чем простой верлибр».

Никто, кроме Ушакова, предпочитавшего традиционные рифмованные стихи, так точно и так правильно не сумел распознать сущность поэзии нового времени – верлибра. Должно было миновать 4 десятилетия для того, чтобы я вернулась к обветшавшим Ушаковским письмам и оценила всю искренность чистой и самоотверженной любви моего Учителя к его последнему ученику, которым я стала для Николая

Николаевича с моего пятнадцатилетнего возраста. Вдвоем с верным другом Поэта – его женою Белогорской-Ушаковой (переводчицей прозы) они заботливо пестовали меня в Киеве, а затем своими письмами поддерживали и в Москве до самой смерти Николая Николаевича. Наша семья поначалу жила в Киеве (середина шестидесятых годов) в крохотной комнатенке коммунальной квартиры с окнами на шумную улицу Свердлова (ныне переименованную на старый лад в Прорезную). Это рядом со знаменитым Золотоворотским сквериком, в котором теплыми весенними деньками сиживала я у фонтана с учебником и готовилась к школьным экзаменам. Если по воскресеньям мой отец – потомственный Великоросс – бывал свободен, то тренировал меня в шахматной игре. Герой Великой Отечественной войны, отец гордился сходством дочери с его русским родом и всячески содействовал тому, чтобы и польские, и украинские наши родственники уважали «кацапов» за наши неоспоримые достоинства. Я посещала Золотоворотский Шахматный Клуб, ликвидированный и вновь возродившийся, где пристрастилась к шахматной игре и неожиданно для себя вдруг выиграла городское первенство по шахматам среди киевских школьниц. Замаячила шахматная карьера, которая, однако, вызвала бурю возмущения у моей матери, ненавидевшей математику, шахматы, философию и вообще точные науки. Это было принципом существования польки-матери – поклонницы оперетты и водевилей, обожательницы модных шляп, новых платьев и кавалеров согласно польской традиции. Мать прочила мне карьеру поэтессы, безответственно ломая мой замкнутый, самоуглубленный характер. Чуть ли не под страхом смертной казни от материнских рук мне пришлось освоить поэзию, которая, как на грех, давалась мне гораздо легче шахмат. Начались престижные публикации в центральной республиканской прессе, выступления по радио, телевидению, на крупных сценах. В школе для интеллигентных детей украинской элиты, где я заканчивала 9-й и 10-й классы, во дворе улицы Свердлова, я пользовалась уважением как шахматистка и публикующаяся юная поэтесса,

номер этой школы на нынешней улице Прорезной был, если не запомнила, 57. В холодное время года мне приходилось готовить уроки в библиотеке, располагавшейся на той же киевской улице, где я жила и училась. Для обитателей коммуналки имело большое значение, чтобы в 9-метровой комнатухе, где ютилась поначалу наша семья вчетвером, каждый из нас возвращался бы домой как можно позже. По счастью библиотека на Прорезной в брежневскую эпоху работала до 23-х часов, и я сидела в ней до закрытия. Приходила я домой только спать. Затем родители получили квартиру на Печерске, а я в 1967-м году уехала на учебу в Москву. Все время моей учебы Ушаков педантично слал мне в общежитие Литинститута строгие литературно-критические письма с анализом моей поэзии – это был столь беспощадный критический разбор каждого слова, что за суровостью критики по молодости лет я не замечала той самоотверженной любви, той веры и надежды на меня, с которыми Николай Николаевич вместе с женой ревниво отслеживали мое творческое развитие в Москве. Должно было миновать 40 лет для того, чтобы я перечитала обветшавшие Ушаковские письма и оценила всю искренность чистой и бескорыстной любви Учителя к своему последнему ученику. Помнится, что я приходила в его семью уже студенткой Литературного института с новыми стихами, также с прозой, которая очень нравилась скупому на похвалы Ушакову. Николай Николаевич выходил встречать меня, по-рыцарски помогал снимать пальто, провожал в кабинет, усаживая на стул рядом с собой. Сам Ушаков всегда сидел за письменным столом. Так вышло однажды, что мы заспорили с Ушаковым насчет литературной моды, которой я была в юности очень подвержена. Спор уперся в принцип: а что такое вообще в поэзии «хорошо» и что такое «плохо»? Ушаков ухмыльнулся в свои пышные белые усы и рассказал про обезьянку, которую они с женой видели в Прибалтике. Оказывается, один боцман-холостяк привез из Африки обезьянку и забавлялся ею до тех пор, покуда не наступила пора отправляться в новое плаванье. Поручить уход за любимицей в красной юбочке было некому, кроме соседских девочек,

взявших обезьянку на временное содержание к себе. Боцман пожертвовал на уход за обезьянкой такую крупную сумму денег, что бедная вдова (мать соседских девочек) тотчас же забрала у дочерей деньги на погашение семейных долгов. Пришлось обезьянке в красной юбочке питаться тем же, чем и дети: овсяной кашей в основном. Когда боцман вернулся из плавания, он пришел забирать свою обезьянку. Любимая тварь холостяка-боцмана, по которой он скучал в дальнем плавании, оказывается, сильно растолстела от овсяной каши, растолстела до неузнаваемости, хотя соседские девочки сшили ей по фигуре новые красные штаны. Боцман, заметивший, как его обезьянка льнёт то к одной, то к другой девочке, растерянно пробормотал: «Вижу, что вы прямо-таки закармлили мою мартышку бананами да ананасами, просто обжорой сделали её». Тут обезьянка скакнула на диван, и холостяк-боцман обомлел от того, какой жирной стала его любимица. Почесав затылок, боцман спросил у вдовы: «Сколько же я должен доплатить вам за питание обезьянки?»

На этом примере Николай Николаевич подробно растолковывал мне с позиций морали и простой физиологии, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Мы позабавились этой житейской историей, спор утих, и мы с Ушаковым достигли взаимного понимания.

По-старомодному вежливый до церемонности Николай Николаевич – любитель путешествовать – огорчился из-за того, что врачи запретили ему ехать куда-то на Енисей. Он сидел за крепким дубовым столом, где стояла чернильница, лежала перьевая ручка (шариковые тогда еще только появлялись в обиходе), висели стопки рукописей. Вдоль стен тянулись мощные книжные полки. В молодости Ушаков работал журналистом, и журналистская служба забрасывала его в дальние командировки вдоль и поперек всего необъятного Советского Союза: и в Карпаты, и на Алтай, и в горы Кавказа. Как журналисту Ушакову приходилось много путешествовать пешком с рюкзаком за плечами. Уже тогда в довоенное время Николай Николаевич преподавал литературное мастерство рабкорам – т. е. рабочим

корреспондентам советских газет. После войны он уже бесплатно пестовал начинающих литераторов и хлопотал о них из любви к делу. Ушаков обладал такой эстетической прозорливостью в отношении литературы, которую называли Ушаковским даром ясновидения. Неутомимый искатель, новатор, пытливый и любознательный от природы старо-русский интеллигент Николай Ушаков призывал меня изучать различные науки ради использования их в писательском труде. Он строго требовал от меня разнообразить поэтический словарь и предупреждал об опасности создания «унифицированного среднеарифметического» литературного словаря в своем писательском наследии. Все убожество Литературного ширпотреба в эпоху Соцреализма было той самой унифицированной среднеарифметической серостью, которая заставляла литературоведов всплескивать руками и писать про то, что на безрыбье и рак сойдет за рыбу. Появлялись целые «обоймы» благонадежных советских писателей, поддерживаемые советской прессой, а ныне вся созданная ими благонадежная макулатура на мусорниках, и читают ее от безделья бомжи.

Всякий раз, когда я приезжала из Москвы на студенческие каникулы в Киев, я приходила в гости к Ушаковым. Николай Николаевич любил толковать со мной о Тарасе Шевченко, поэзия которого, как и поэзия Некрасова, трогала мою душу до слез. Ушаков – сухонький к той поре конца своего жизненного пути, тяжело дышавший, хрупкий с волнением говорил о том, что Шевченко – поэт народный, а не простонародный, гений мирового масштаба. Я целиком разделяла его мнение и тоже волновалась. Ушаков произнес: «Время моего земного бытия уже на исходе. Совсем мало осталось времени в запасе, а дел как много недоделано! Небо, земля, сердечный трепет над раскрытой книгой, звук ключа, ворочающегося в скважине, когда жена возвращается из магазина с хлебной орнауткой, - как все это мило сердцу, как дорого, а тут время жизни вышло, умирать пора... Кажется, совсем недавно был я молод, как ты. Ясно помню, что на праздник Неопалимой Купины деревенские бабы выкапывали лук из грядок; помню ужей,

ползавших по заливному лугу. Припоминаются прыжки через костер в день летнего солнцестояния на Ивана Купалу. А теперь самый длинный вечер наступает, самая глухая ночь идет... ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ!» Тогда уже был снят цензурный запрет на творчество Франца Кафки, и я выслушивала от Ушакова критический разбор моей студенческой прозы, написанной под влиянием Кафки. Ушакову нравилось; но, как всегда, он сосредоточивался на недостатках, требуя от меня шлифовки писательского стиля. Раскритиковав, хотя и одобрив, Николай Николаевич вздохнул: - Вот, кстати, цитата, отмеченная мной у Кафки: «Смерть для каждого – это как субботний вечер для трубочиста, когда трубочист моется и отскребаёт от тела сажу. Тогда, после смерти уже, становится видно, как человек прожил жизнь и кто кому больше навредил: он своим современникам либо современники больше навредили ему. Если же все-таки человек стал жертвой своих современников, то в последнем случае это был, несомненно, великий человек».

Ушаков захлопнул книгу и умолк. Молчала и я, уже получившая в дар новый поэтический сборник Учителя с таким горестным, прощальным стихотворением: «Зимнее солнцестояние». Ненадолго Ушаков пережил это пророчество о своей зимней смерти.

Юное сердце поэтессы чутко улавливало интонации умирающего старшего друга. Все для меня было внове, все впервые: и тихий, робкий голос Ушакова, в котором чувствовалась дрожь от изумления темой беседы, и таинственность нашего общего проникновения в святая святых: в мир Тараса Шевченко, и переживание за судьбу Родины, оплаканной крепостным поэтом. Мое сознание собственной юношеской чистоты, благородный строй правдолюбивой души, презрение к человеческой грязи, – весь этот душевный строй был созвучен христианской душе умирающего Учителя. Ушаков дал мне полистать дореволюционное издание «Кобзаря» и рассмеялся, когда я понюхала его: пьянил запах старой книги. Николай Николаевич продекламировал на чистейшем украинском языке «Вірш» и заговорил о

подлинности в описании Шевченковских пейзажей. Ушаков говорил о точности переданных стихотворными средствами жизненных деталей: косогоры в высоких цветах, разрушающаяся кирпичная часовня в крапивных зарослях, речка, гогочущие гуси, бревенчатый мостик, а вдалеке за гаем «кует» кукушка... После смерти Ушакова через пару лет на киевской даче моей русской бабушки Натальи в Мотовиловке на чердачном сеновале сочинила я стихотворение «Тихий Свет» о Святом Духе с шевченковской «кующей» кукушкой, которое было зарезано впоследствии советской цензурой из-за его религиозности и удалось его опубликовать лишь за границей в мой ЧЕШСКИЙ творческий период (1995-2000 годы). В пражском однотомнике Составитель переиздал и мое стихотворение «Памяти учителей»: об Ушакове, Сельвинском, Щипачеве и Суркове, которым я остаюсь благодарна по сей день. Но мое сердце привязано главным образом лишь к тому из них, кто любил меня.

Хрупкий, высохший, как кузнечик, Николай Николаевич быстро и с глухим сипеньем дышал, толкуя мне про Шевченко. Ушаков описывал внешность Тараса, ссылаясь на очевидца Тургенева: это был коренастый украинский казак со следами солдатской муштры в манерах и ломки в типично малороссийском характере, широкоплечий, приземистый. Глядел Тарас на людей недоверчиво и угрюмо. Изредка Шевченковское лицо приобретало нежное и ласковое выражение, озаряемое детской улыбкой. Фигура казака была мешковатая, походка степенная. Во всем наружном облике Тараса Шевченко отсутствовало парадоксальным образом то изящество, за которое он был удостоен царского титула Гравера-академика. Тургенев отзывался о Тарасе Шевченко как о замечательной личности. Тот и в самом деле владел русским языком без акцента и досконально знал русскую литературу. Тарас Шевченко восхищался «Губернскими очерками» Салтыкова-Щедрина, благоговел перед Гоголем. Интересны были, на взгляд Ушакова, русскоязычные повести самого Шевченко: «Музыкант» (с пророчеством неизбежной социалистической революции) и «Художник» (с

описаниями Санкт-Петербурга, Невы).

Ушаков хрупкий, высохший, как кузнечик, перевел дыхание и заговорил о том, что судьбы выдающихся личностей нетипичны, не похожи на стандартные людские биографии. Такова была судьба Шевченко, такова была судьба итальянского ненца Тито Руффо.

Судьба поэта Некрасова тоже начиналась бедственно, ненамного лучше, чем у Тито Руффо. Так, юноша Николай Некрасов однажды крепко надоел квартирной хозяйке своими регулярными задолженностями за квартиру. И, вот, затем, чтобы изгнать невыгодного жильца эта петербурженка вынесла из занимаемой им комнаты всю мебель. Дело было зимой в Петербурге, поэтому женское сердце квартирной хозяйки потерпело еще неделю нерадивого квартиранта, искавшего себе другой приют. Будущему классику пришлось спать на голом полу, подложив под себя пальто «на рыбьем меху». Стихи писал юный Николай Некрасов на низеньком подоконнике, перед которым стоял на коленях за неимением даже табурета. Нищета как образ жизни великого человека – дело почти обязательное, поскольку довольный своим существованием человек отказывается переживать и вообще думать. Вот и выходит, что всевозможное горе и беда являются стимуляторами для проявления гениальности. Выходит, что злключения как бы выдушивают из гения его шедевры, словно выжимается сок из лимона. Судьбы знаменитостей, если это не продажные халтурщики, которые тоже бывают знаменитыми, незавидны.

Все великие люди имели какие-то нетипичные особенности судьбы. Так, великий итальянский певец Тито Руффо родился в семье кузнеца. Маленький Тито в многодетной семье стал лишним ртом, а потому сделался ребенком – нелюбимым родителями. Его поколачивали, заставляли тяжело работать в отцовской кузнице. Но голод – не тетка, и маленький Тито ради куска хлеба да ночлежного угла по-рабски безотказно работал на своего отца, который в свою очередь тоже по-рабски безотказно работал на других. Уж так было заведено. И, вот, когда нежеланному ребенку исполнилось 13 лет,

отец заявил ему, что сын вырос – пора слезать с родительской шеи! Отрок был вынужден уйти из дому без гроша в кармане и начинать самостоятельное существование. Дело было летом. Ночевать мальчику стало негде, поэтому он поселился среди могил на городском кладбище. Однажды голодный ребенок пересчитывал милостыню на церковной паперти, как его заметила сердобольная монашка из католического христианского Ордена служебниц Божиих, привела во флигель, умыла, накормила и научила петь богослужебные песни для служения на святой мессе. Так выяснилось, что бездомный мальчик Тито обладает уникальным баритоном. Сам Бог послал такого чудесного певчего костелу!

Органист костёла обучил музыкально безграмотного отрока петь без нот, по слуху. Тито Руффо не знал даже обыкновенной азбуки, и теперь самоотверженные служебницы Божии со всей неизрасходованной материнской любовью принялись учить талантливое певчее чтение, письму и счету. Благодаря христианской заботе и сердечной любви прихожан католического костёла вскоре Италия удивилась той задушевной проникновенности в особенной певчей манере Тито Руффо, которая прославила его. Когда о мировом музыкальном кумире Тито Руффо наконец узнала семья кузнеца, то по просьбе семьи театральный директор передал знаменитому певцу корзину с цветами и фруктами из родительского сада. На дне корзины лежала семейная фотография с подписью на обороте: «Сынок, прости, если можешь. Но даже если не можешь – все равно прости. Ведь тебе не известны обстоятельства жизни твоих родителей». Мировая знаменитость Тито Руффо сказал тогда театральному директору: «Конечно, трудно поверить теперь в то, что начинал я свою карьеру в кузнице под ругань и кулачные удары родного отца. Трудно поверить теперь и в то, что никто из родителей не любил меня в многодетной семье, которая и до моего рождения часто голодала. Трудно поверить в то, что был я когда-то изгнан из дому, что приютили меня усопшие родственники в семейном склепе. Я жаловался им, как живым, плакал, прося помощи, и получил её, словно мертвые

родственники слышали меня, получил в виде догадки собирать милостыню у костела. Я уверен, что кладбищенские обитатели действительно молились Богу о моей судьбе. И вот теперь моей судьбе завидуют все певцы, завидуют более благополучные от рождения, чем я».

Затем мы заговорили о творчестве украинского классика Максима Рыльского, которого Ушаков переводил на русский язык. Николай Николаевич анализировал очерк М. Рыльского, направленный на разъяснение читателям пользы КРАСОТЫ в человеческом обиходе. *Ушаков протестовал* и сам по себе, и всем своим творчеством *против дисгармоничности: против уродства и зла, боролся с ними средствами своей поэзии, направленной на служение КРАСОТЕ и ГАРМОНИИ. Мыслил Ушаков конкретно, писал тоже о конкретном. Он являлся поборником логической ясности и четкости в поэтическом изложении. Ушаков утверждал, что принципом создания настоящей Поэзии и настоящего Искусства должна быть магистральная МЫСЛЬ, ради которой создается любое произведение в любом жанре. Это и составляло суть УШАКОВСКОЙ ШКОЛЫ ПОЭЗИИ, которую Николай Николаевич начинал именами Державина и Пушкина.* Прав был Пушкин, утверждая, что после смерти большого писателя непременно приходит время, когда каждый клочок бумаги, исписанный его рукой, становится драгоценным. Пришла такая пора и для Ушакова.